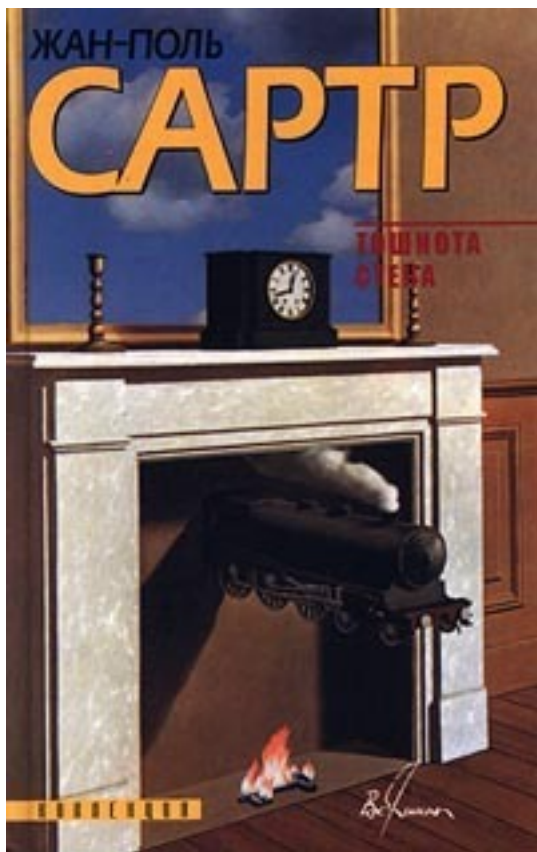


ЖАН-ПОЛЬ

# САРТР

ТОШНОТА  
ОТ ЕЗА



# Жан-Поль Сартр

## Комната

*OCR Александр Продан*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=155282](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=155282)*

*Тошнота. Стена. Серия: Вершины. Коллекция: АСТ, Фолио; Москва;*

*2000*

*ISBN 966-03-0675-X, 5-237-04683-5*

# Содержание

I	4
II	26

# Жан-Поль Сартр

## Комната

### I

Госпожа Дарбеда держала кончиками пальцев рахат-лукум. Она осторожно поднесла его к губам и затаила дыхание, боясь сдуть сахарную пудру, которой он был присыпан. «Ро-зами пахнет!» – подумала она. Она вонзила зубы в вязкую массу и ощутила во рту гнилостный привкус. «Удивительно, как болезнь обостряет чувства». Она стала думать о мечетях, о приторно-вежливых восточных людях (она ездила в Алжир в свадебное путешествие), и на ее бледных губах обозначалась едва заметная улыбка: рахат-лукум тоже был приторно-сладким.

Ей пришлось несколько раз провести ладонью по страницам книги, потому что, несмотря на все предосторожности, их покрывал налет белой пудры. Под ее ладонями на скользкой бумаге свертывались, поскрипывая, крохотные песчинки сахара: «Это напоминает мне Аркашон, когда я читала на пляже...» Лето 1907 года она провела на побережье. Она носила тогда соломенную шляпу с большими полями и зеленой лентой; сидела у самого пирса с романом Жипа или Коллеты Ивер. Ветер осыпал ее колени песком, и время от време-

ни она встряхивала книгу, поднимая за уголки. Сейчас она чувствовала то же самое, только вот песчинки были сухие, а эти малюсенькие сахарные шарики липли к кончикам пальцев. Перед глазами вдруг возникла полоска жемчужно-серого неба над черным морем. «Это было до рождения Евы». Она чувствовала себя нагруженной воспоминаниями и драгоценной, как шкатулка из сандалового дерева. Неожиданно всплыло в памяти название романа, который она тогда читала, – «Маленькая госпожа»; он вовсе не был скучным. Но с тех пор, как непонятная болезнь безвыходно удерживала ее в комнате, госпожа Дарбеда предпочитала мемуары и сочинения по истории. Она полагала, что страдание, серьезное чтение, обостренное внимание к своим воспоминаниям, к своим самым утонченным ощущениям помогут ей созреть, словно редкому оранжерейному плоду.

Она с раздражением подумала, что сейчас в дверь постучит муж. В другие дни недели он заходил только по вечерам, молча целовал ее в лоб и, устроившись напротив в кресле, читал «Тан». Но четверг был его «днем»: господин Дарбеда отправлялся на часок к дочери, как правило, от трех до четырех дня. Перед уходом он заглядывал к жене, и они с горечью беседовали о своем зяте. Эти разговоры по четвергам, повторявшиеся до мельчайших деталей, совершенно выматывали госпожу Дарбеда. В этой тихой комнате господина Дарбеда было слишком много. Он не садился, расхаживал взад-вперед и беспрерывно вертелся. Каждое из этих резких

движений терзало госпожу Дарбеда, как звон разбитого стекла. В этот четверг дела обстояли даже хуже обычного: при мысли, что ей придется повторить мужу признания Евы и увидеть, как это пугающее большое тело задрожит от ярости, госпожа Дарбеда потела от страха. Она взяла с тарелки кусочек лукума, с минуту нерешительно смотрела на него, затем с печальным видом положила обратно: она не любила, когда муж заставлял ее за этим занятием.

Она вздрогнула, услышав стук.

– Входите, – тихо сказала она.

На цыпочках вошел господин Дарбеда.

– Я иду к Еве, – сказал он, как всегда.

Госпожа Дарбеда улыбнулась.

– Поцелуй ее за меня.

Господин Дарбеда не ответил, лишь с озабоченным видом наморщил лоб: каждый четверг, в один и тот же час, битком набитый желудок вызывал у него какое-то глухое раздражение.

– От нее я зайду к доктору Франшо, мне хотелось бы, чтобы он серьезно поговорил с ней и постарался убедить.

Он часто навещал доктора Франшо. Но напрасно. Госпожа Дарбеда вздернула брови. Раньше, будучи здоровой, она в таких случаях обычно пожимала плечами. Но с тех пор, как болезнь утяжелила ее тело, утомлявшие ее жесты она заменила мимикой лица – глазами говорила «да», уголками губ – «нет».

– Надо бы попытаться отнять у него Еву.

– Я ведь уже говорил тебе, что это невозможно. Кстати, закон на этот счет очень плох. Франшо как-то сказал мне, что у врачей бывают немыслимые неприятности с семьями: люди не решаются сдать больных в клинику и держат их дома. У врачей связаны руки, они вправе лишь высказать свое мнение, и все тут. Необходимо, – продолжал он, – чтобы разразился публичный скандал, или семья сама должна потребовать помещения больного в больницу.

– Но это когда еще будет, – заметила госпожа Дарбеда.

– Вот именно.

Он повернулся к зеркалу и, запустив пальцы в бороду, принялся ее разглаживать. Госпожа Дарбеда равнодушно смотрела на мощный красный загривок мужа.

– Если так и дальше будет продолжаться, – сказал господин Дарбеда, – она станет безумнее его, у них страшно нездоровая обстановка. Она ни на шаг от него не отходит, никого не видит, кроме тебя, никого не принимает. Окон она никогда не открывает, потому что этого не желает Пьер. Как будто для этого надо спрашивать разрешения у больного. Они, по-моему, жгут благовония в курительнице – такая гадость, кажется, что ты в церкви. Право слово, иногда я думаю... знаешь, глаза у нее какие-то странные.

– Я этого не заметила, – возразила госпожа Дарбеда. – Я нахожу, что выглядит она нормально. Правда, немного печальна.

– Она как покойница. Хорошо ли она спит? Как питается? И не думай спросить ее об этом. Но я считаю, что, имея под боком такого «гуся», как этот Пьер, ей приходится ночи напролет не смыкать глаз. И самое невероятное во всем этом, что мы, ее родители, не имеем права защитить ее от нее самой. Заметь, что у Франшо уход за Пьером будет гораздо лучше. У них огромный парк. И к тому же я считаю, – прибавил он с едва уловимой усмешкой, – что с себе подобными ему будет легче найти общий язык. Эти существа как дети, надо, чтоб они были заняты собой; они образуют своего рода братство франкмасонов. Вот где следовало бы его держать с первого же дня, и замечу – для его же пользы. Да, для его же пользы.

Помолчав немного, он добавил:

– Признаюсь тебе, мне жутко от мысли, что она остается наедине с Пьером, особенно ночью. Представь себе, вдруг что-то случится. Пьер ведь ужасно скрытный.

– Не знаю, – возразила госпожа Дарбеда, – стоит ли по этому поводу особенно волноваться, ведь он всегда был такой. Он производит впечатление человека, свысока глядящего на весь свет. Бедный мальчик, – вздохнула она, – быть таким гордецом и к чему прийти! Он считал себя умнее всех нас. И эта его манера затыкать тебе рот: «Вы совершенно правы», чтоб закончить разговор. Для него великое счастье, что он не способен понять, в каком состоянии находится.

Она с неудовольствием вспоминала его узкое, ироничное



лицо, всегда чуть склоненное к плечу. В первые месяцы замужества Евы госпожа Дарбеда не желала бы ничего лучшего, как завязать с зятем отношения родственной близости, однако он сводил на нет все ее усилия – почти не разговаривал с ней, поспешно и с отсутствующим видом со всем соглашался.

– Франшо показал мне свое заведение, – продолжал развивать свою мысль господин Дарбеда, – оно просто превосходно. У больных отдельные комнаты, с кожаными креслами и, представь себе, диван-кроватьями, там, скажу я тебе, есть корт, они даже намерены построить бассейн.

Он остановился у окна и уставился в стекло, слегка покачиваясь на своих кривых ногах. Внезапно он проворно, гибко повернулся на каблуках; плечи у него были покатые, руки он держал в карманах. Госпожа Дарбеда почувствовала, что сейчас она начнет обливаться потом: так случалось всегда; он принялся расхаживать взад и вперед, словно медведь в клетке, и при каждом шаге ботинки его скрипели.

– Дорогой друг, – сказала она, – прошу тебя, сядь, ты меня утомляешь. Я должна сказать тебе нечто важное, – в замешательстве прибавила она.

Господин Дарбеда сел в кресло и сложил руки на коленях; мурашки бежали по спине госпожи Дарбеда: настало время сказать обо всем.

– Ты знаешь, – начала она, смущенно покашляв, – Ева была у меня во вторник.

– И что же?

– Мы болтали с ней о разных разностях, она была очень мила, давно я не видела ее такой откровенной. Тогда я и расспросила ее кой о чем, заставила рассказать о Пьере. В общем, я узнала, – добавила она, снова смутившись, – что она сильно к нему привязана.

– Я это прекрасно знаю, черт бы меня побрал! – воскликнул господин Дарбеда.

Он слегка раздражал госпожу Дарбеда: всегда приходилось кропотливо объяснять ему подобные вещи, расставляя точки над *i*. Госпожа Дарбеда мечтала жить в окружении тонких и чутких людей, которые понимали бы ее с полуслова.

– Но я говорю, – продолжала она, – что Ева привязана к нему иначе, чем мы себе это представляли.

Господин Дарбеда вытаращил злобные и встревоженные глаза, как бывало всякий раз, когда он не вполне улавливал смысл какого-нибудь намека или новости:

– На что ты намекаешь?

– Шарль, не утомляй меня, – попросила госпожа Дарбеда. – Ты должен понимать, что матери бывает трудно говорить о некоторых вещах.

– Я не понимаю ни слова из того, что ты мне тут несешь, – с раздражением сказал господин Дарбеда. – Уж не хочешь ли ты сказать, что...

– Да, это так! – подтвердила она.

– Они еще... даже теперь?

– Да! Да! Да! – трижды зло повторила она.

Господин Дарбеда развел руками и, опустив голову, замолчал.

– Шарль, я не должна была говорить тебе этого, – с тревогой сказала его жена. – Но я не могла носить это в себе.

– Наше дитя! – с трудом выговорил он. – С этим сумасшедшим! Он даже не узнает ее, называет Агатой. Наверно, она с ума сошла, если совсем потеряла уважение к себе.

Он поднял голову и строго посмотрел на жену:

– Ты уверена, что правильно все поняла?

– Сомнений быть не может. Я, как и ты, – поспешно добавила она, – тоже не могу поверить в это и, кстати, не понимаю ее. При одной мысли, что этот жалкий больной может касаться ее, меня... В конце концов, – вздохнула она, – я предполагаю, что он удерживает ее благодаря этому.

– Увы! – проговорил господин Дарбеда. – Помнишь, что я тебе говорил, когда он пришел к нам просить ее руки? Я сказал: «По-моему, он Еве очень нравится». Ты не хотела мне верить.

Внезапно он стукнул ладонью по столу и сильно покраснел:

– Это извращение! Он обнимает ее, целует, называя при этом Агатой, и несет всякую околесицу о летающих статуях и еще черт знает о чем! А она не возражает! Но что может быть между ними? Если она жалеет его от всего сердца, пусть отправит в санаторий, где может навещать его каждый день,

да ради Бога. Но я никогда не подумал бы... Я считаю ее почти вдовой. Послушай, Жаннет, должен честно тебе признаться, – очень серьезным тоном сказал он, – если она сохранила чувства, то я бы предпочел, чтоб она завела любовника!

– Замолчи, Шарль! – воскликнула госпожа Дарбеда.

Господин Дарбеда с усталым видом взял шляпу и трость, которые он, входя в комнату, положил на маленький столик.

– После того, что ты мне сейчас сказала, – заключил он, – у меня осталось мало надежды. Но я все же поговорю с ней, потому что это мой долг.

Госпожа Дарбеда спешила выпроводить его.

– Знаешь, – сказала она, пытаясь немного его приободрить, – я думаю, что со стороны Евы здесь больше упрямства... чем что-либо еще. Она знает, что Пьер неизлечим, но упрямится и не желает, чтобы ее в этом разубеждали.

Господин Дарбеда задумчиво поглаживал бороду:

– Упрямство? Да, возможно. Ну ладно, если ты права, то рано или поздно ей все это надоест. Он не каждый день ведет себя смирно, и к тому же не слишком разговорчив. Когда я здороваюсь с ним, он протягивает мне мягкую руку и молчит. Как только они остаются одни, он, я полагаю, опять возвращается к своим навязчивым идеям; она говорила мне, что иногда он орет, как зарезанный, потому что у него галлюцинации. Ему мерещатся статуи. Они пугают его, потому что жужжат. Он говорит, что они порхают вокруг него, глядя

на него пустыми глазами.

Натягивая перчатки, он продолжал:

– Ей надоест это, уверяю тебя. Ну а если прежде она свихнется? Я хотел бы, чтоб она почаще выходила из дома, бывала на людях; она могла бы встретить какого-нибудь приятного молодого мужчину вроде Шредера, например, что работает инженером у Сэмплона, какого-нибудь человека с будущим, виделась бы с ним то у одних, то у других и совсем безболезненно свыклась бы с мыслью, что ей необходимо начать жизнь заново.

Госпожа Дарбеда молчала из-за боязни, как бы не затянулся разговор. Супруг склонился к ней.

– Ладно, – сказал он, – мне пора идти.

– До свиданья, папочка, – сказала госпожа Дарбеда, подставляя ему лоб. – Поцелуй ее крепко и передай, что я люблю мою бедную дорогую девочку.

Когда муж ушел, госпожа Дарбеда откинулась на спинку кресла и в изнеможении закрыла глаза. «Сколько в нем жизни», – укоризненно подумала она. Едва переведя дух, она плавно вытянула бледную руку и на ощупь, не открывая глаз, взяла с тарелки лукум.

Ева с мужем жили на шестом этаже старого дома по улице дю Бак. Господин Дарбеда легко преодолел все сто двенадцать ступенек лестницы. Нажимая на кнопку звонка, он дышал ровно, без отдышки. Он с удовольствием вспомнил слова мадемуазель Дормуа: «Для ваших лет, Шарль, вы вы-

глядите просто чудесно». По четвергам он всегда ощущал в себе сил и здоровья больше, чем обычно, особенно после этих столь бодрящих восхождений.

Дверь открыла Ева. Ну конечно, она ведь не держит прислугу. Эти девки не могут оставаться у нее долго – представляю себя на их месте. Он поцеловал ее: «Здравствуй, бедняжка моя».

Ева поздоровалась с ним как-то холодно.

– Ты немного бледна, – заметил господин Дарбеда, потрепав ее по щеке, – мало двигаешься.

Наступило молчание.

– Как мама? – спросила Ева.

– Неважно. Ты ведь видела ее во вторник? Так она чувствует себя, как обычно. Твоя тетка Луиза вчера зашла ее проведать, это ее обрадовало. Она любит принимать гостей, но нельзя, чтобы они у нее засиживались. Тетя Луиза приехала в Париж с ребятней из-за этого ее дела с недвижимостью. По-моему, я тебе рассказывал об этом, странная история. Она зашла ко мне в контору посоветоваться. Я сказал, что двух мнений быть не может: она должна ее продать. Она уже нашла покупателя, кстати, это Бретонель. Помнишь Бретонеля? Теперь он отошел от дел.

Он вдруг замолчал: Ева почти не слушала его. Он с грустью подумал, что она больше ничем не интересуется. «Это как с книгами. Прежде их у нее приходилось отнимать. Сейчас она даже читать перестала».

– Как Пьер?

– Хорошо. Хочешь его повидать?

– Конечно, – весело ответил господин Дарбеда, – я нанесу ему краткий визит.

Он очень сочувствовал этому несчастному парню, но не мог без отвращения смотреть на него. «Мне внушают ужас больные люди». Вины Пьера, разумеется, в этом не было: у него была страшно тяжелая наследственность. Господин Дарбеда вздохнул: «Какие ни принимай предосторожности, подобные вещи всегда обнаруживаются слишком поздно». Нет, Пьер здесь не виноват. Но все-таки он всегда носил в себе этот порок, он составлял суть его характера; это не то, что рак или туберкулез, от которых всегда можно отвлечься, когда хочешь судить о том, каков человек на самом деле. Это нервное изящество и эта утонченность, которые так очаровали Еву, когда он за ней ухаживал, были цветами безумия. «Он уже был сумасшедшим, когда женился на ней, правда, это еще не бросалось в глаза. И уместно задать вопрос, – думал господин Дарбеда, – где начинается ответственность или, вернее, где она заканчивается. Во всяком случае, Пьер слишком копался в себе, он постоянно был поглощен собой. Но что это – причина или следствие его болезни?» Он шел за дочерью по длинному темному коридору.

– Эта квартира слишком велика для вас, – заметил он, – вам нужно переехать в другую.

– Ты каждый раз повторяешь мне это, папа, – ответила

Ева, – но я тебе уже сказала, что Пьер не хочет расставаться со своей комнатой.

Ева его поражала: интересно, отдавала ли она себе отчет о состоянии мужа. Он совершенно безумен, а она считается с его решениями и мнениями, словно он в здравом уме.

– Я говорю все это только ради тебя, – с досадой продолжал господин Дарбеда. – Мне кажется, будь я женщиной, я бы боялся оставаться в этих старых, плохо освещенных комнатах. Я хотел бы, чтобы у тебя была светлая квартира, вроде тех, что понастроили в последнее время в Отей, три небольших, хорошо проветриваемых комнаты. Они снизили цены, потому что не находят нанимателей, сейчас самый подходящий момент снять квартиру.

Ева осторожно повернула ручку двери, и они вошли в комнату. У господина Дарбеда перехватило горло от тяжелого запаха ладана. Шторы были задернуты. В полутьме он различил над спинкой кресла худой затылок; это сидел Пьер – он ел.

– Добрый день, Пьер, – сказал господин Дарбеда, повышая голос. – Ну как мы себя чувствуем сегодня?

Господин Дарбеда подошел поближе; больной сидел за маленьким столиком, вид у него был хмурый.

– Мы кушаем яички всмятку, – сказал господин Дарбеда, говоря еще громче. – Вот и отлично!

– Я не глухой, – спокойно заметил Пьер.

Господин Дарбеда с раздражением посмотрел на Еву,



словно призывая ее в свидетели. Но Ева сурово взглянула на него и промолчала. Господин Дарбеда понял, что обидел ее. «Пусть, тем хуже для нее». Невозможно было найти подходящий тон с этим несчастным малым: разума у него было меньше, чем у четырехлетнего ребенка, а Ева хотела, чтобы с ним обращались, как со взрослым мужчиной. Господин Дарбеда не мог совладать с собой и нетерпеливо ждал того момента, когда все эти смехотворные взгляды станут неуместны. Больные всегда слегка раздражали его, особенно сумасшедшие, потому что они пороли всякую чушь. Бедняга Пьер, к примеру, неизменно был не прав во всем, он слова разумного не мог вымолвить, и все-таки напрасно было бы требовать от него малейшей скромности или хотя бы мимолетного признания своих ошибок.

Ева убрала скорлупу и рюмку для яиц. И поставила перед Пьером тарелку с ножом и вилкой.

– Ну а что он теперь будет кушать? – осведомился господин Дарбеда.

– Бифштекс.

Худыми бледными пальцами Пьер взял вилку. Он принялся внимательно ее осматривать и наконец ухмыльнулся.

– На этот раз ничего не будет, – пробормотал он, откладывая ее, – меня предупредили.

Ева приблизилась и с глубоким интересом взглянула на вилку.

– Агата, дай мне другую, – сказал Пьер.

Она подчинилась, и Пьер приступил к еде. Она взяла в руки сомнительную вилку и стала пристально ее разглядывать; казалось, она предпринимает какое-то отчаянное усилие. «Как двусмысленны их жесты, их отношения!» – подумал господин Дарбеда.

Ему стало не по себе.

– Осторожно, – сказал Пьер, – держи ее за середину ручки, бойся зубцов.

Ева вздохнула и положила вилку в грязную тарелку. Господин Дарбеда почувствовал, что в нос ему ударил запах горчицы. Он не считал правильным потакать всем прихотям этого несчастного – даже для самого Пьера это было вредным. Франшо верно говорил: «Мы никогда не должны вникать в бред больного». Вместо того чтобы давать другую вилку, лучше было бы спокойно все ему объяснить и заставить понять, что первая ничем не отличается от остальных. Он демонстративно взял вилку и легонько провел пальцем по зубцам. Потом повернулся к Пьеру. Но тот с безмятежным видом разрезал свое мясо; он смотрел на тестя добродушным, пустым взглядом.

– Я хотел бы немного поболтать с тобой, – обратился господин Дарбеда к Еве.

Та покорно последовала за ним в гостиную. Садясь на диван, господин Дарбеда вдруг обнаружил, что все еще держит вилку в руке. Засмеявшись, он бросил ее на столик.

– А здесь гораздо лучше, – заметил он.

– Я никогда не захожу сюда.

– Могу я закурить?

– Конечно, папа, – сказала Ева. – Хочешь сигару?

Господин Дарбеда предпочел скрутить сигарету. Его не пугал разговор, который он собирался завести. Говоря с Пьером, он стеснялся своего разума – так, наверное, стыдится собственной силы силач, играя с ребенком. Все достоинства разума – ясность, вразумительность, точность – оборачивались против него же. «У моей бедняжки Жаннетты, надо честно признаться, происходит то же самое». Разумеется, госпожа Дарбеда была в своем уме, но болезнь сделала ее... туповатой. Ева, наоборот, была вся в отца, это была прямая и разумная натура; беседа с ней превращалась в сплошное удовольствие. «Именно потому я и не желаю, чтоб мне ее испортили». Господин Дарбеда поднял глаза, ему захотелось увидеть умные и тонкие черты лица дочери. Он был разочарован: в ее лице, некогда таком умном и открытом, теперь появилось что-то размытое и непроницаемое. Ева всегда была очень красива. Господин Дарбеда заметил, что она тщательно, даже вызывающе накрутила ресницы. Она подвела синим веки и тушью накрутила длинные ресницы. И этот продуманный и броский макияж произвел тягостное впечатление на ее отца.

– Ты совсем зеленая под своей косметикой, – сказал он, – я боюсь, как бы ты не свалилась. И как ты стала краситься! Ведь ты была такая скромница.

Ева молчала, а господин Дарбеда некоторое время сму-

ценно вглядывался в это яркое и утомленное лицо под тяжелой копной черных волос. Он подумал, что она похожа на трагическую актрису. «Я даже точно знаю, на кого именно. На эту женщину, румынку, которая играла Федру по-французски». Он сожалел, что сделал ей неприятное замечание. «У меня это вырвалось невольно! Лучше было бы не расстраивать ее по мелочам».

– Извини меня, – сказал он улыбаясь, – ты же знаешь, что я старый поклонник природы. Мне не слишком нравятся все эти помады, которыми сегодня мажутся женщины. Но вероятно я не прав, нужно уметь не отставать от жизни.

Ева ласково улыбнулась ему. Господин Дарбеда закурил сигарету и сделал несколько затяжек.

– Дитя мое, – начал он, – я вот что хочу тебе сказать: давай с тобой поболтаем обо всем, как раньше. Ладно, сядь и спокойно выслушай меня; надо доверять своему старому папе.

– Я лучше постою, – сказала Ева. – Так что ты хочешь мне сказать?

– Я хочу задать тебе один простой вопрос, – более сухим тоном сказал господин Дарбеда. – К чему все это тебя приведет?

– Все это? – удивленно повторила Ева.

– Ну да, все, вся эта жизнь, которую ты себе устроила. Послушай, – продолжал он, – не думай, что я не понимаю тебя (эта мысль только что осенила его). Но то, что ты собираешься делать, выше сил человеческих. Ты хочешь жить только в

воображении, не так ли? Ты не желаешь признавать, что он болен? Ты не хочешь видеть сегодняшнего Пьера, разве нет? Ты видишь лишь прежнего Пьера. Моя дорогая, маленькая моя девочка, это цель, которой невозможно добиться, – сказал господин Дарбеда. – Хорошо, я расскажу тебе одну историю, которой ты, может быть, и не знаешь: когда мы были в Сабль д'Олонь – тебе тогда было три года – твоя мать познакомилась с очень милой молодой женщиной, у которой был прелестный сынишка. Ты играла с этим мальчиком на пляже – вы были от горшка три вершка, ты была его невестой. Спустя какое-то время, в Париже, твоей матери захотелось снова встретиться с этой женщиной; матери сообщили, что с ней произошло страшное несчастье: ее прекрасному ребенку автомобиль размозжил голову. «Можете навестить ее, но ни в коем случае не говорите о смерти ее малыша, она не хочет верить в то, что он погиб». Твоя мать побывала у нее; увидела полупомешанное создание; женщина вела себя так, словно ее мальчик по-прежнему живой, – она разговаривала с ним, ставила ему на стол прибор. Так вот, она пережила столь сильное нервное напряжение, что через полгода ее пришлось насильно поместить в санаторий, где она пробыла три года. Нет, маленькая моя, – покачал головой господин Дарбеда, – такие вещи невозможны. Было бы гораздо лучше, если бы она мужественно признала правду. Она пережила бы один раз сильное страдание, но это вылечило бы ее. Надо научиться смотреть правде в глаза, иного выхода нет, поверь

мне.

– Ты ошибаешься, – сказала Ева, – я очень хорошо знаю, что Пьер...

Слова не последовало. Она держалась очень прямо, опустив руки на спинку кресла; что-то жесткое и некрасивое выражала нижняя часть ее лица.

– Ну а... что дальше? – спросил удивленный господин Дарбеда.

– А чего дальше?

– Ты...?

– Я люблю его таким, какой он есть, – быстро, со скучающим видом ответила Ева.

– Это неправда, ты его не любишь, не можешь любить. Такие чувства можно питать лишь к нормальному и здоровому человеку. К Пьеру же ты испытываешь жалость, я уверен в этом, и, вероятно, хранишь память о трех годах счастья, которыми ему обязана. Но не говори мне, что ты его любишь, я в это не поверю.

Глядя с отсутствующим видом на ковер, Ева молчала.

– Ты могла бы мне ответить, – холодно сказал господин Дарбеда. – Не думай, что этот разговор для меня менее тягостен, чем для тебя.

– Ты же все равно мне не поверишь.

– Ладно, если ты его любишь, – вскричал он, выходя из себя, – то это великое горе для тебя, для меня, для твоей несчастной матери, потому что я сейчас скажу тебе нечто та-

кое, что предпочел бы от тебя скрыть,— через три года Пьер погрузится в полнейшее безумие, он превратится в животное.

Он сурово посмотрел на дочь: он злился на нее за то, что она своим упрямством вынудила его на такую тяжелую откровенность.

Ева не шелохнулась, она даже не подняла глаз.

— Я знаю об этом.

— Кто тебе сказал? — спросил он в изумлении.

— Франшо. Уже полгода мне это известно.

— А я ведь очень просил его пощадить тебя, — с горечью сказал господин Дарбеда. — В конце концов, может быть, это и к лучшему. Но в этих обстоятельствах ты должна понять, что непростительно держать Пьера при себе. Борьба, которую ты затеяла, обречена, его болезнь не знает пощады. Если возможно было бы хоть что-то сделать, если можно было бы спасти его благодаря уходу, я не завел бы этот разговор. Но посмотри на себя: ты красивая, умная и веселая, ты бессмысленно убиваешь себя из-за какой-то блажи. Хорошо, все ясно, ты вела себя великолепно, но теперь все кончено, ты выполнила свой долг, даже больше чем долг; сейчас упорствовать уже аморально. У человека есть обязанности и по отношению к самому себе, дитя мое. И потом, ты не думаешь о нас. Необходимо, — выговорил он, отчеканивая слова, — чтобы ты поместила Пьера в клинику Франшо. Ты оставишь эту квартиру, где видела одно горе, и вернешься к нам. Если те-

бе хочется быть полезной и облегчать страдания других, изволь, у тебя есть мать. Бедняжка, за ней ухаживают санитарки, но ей не помешало бы чуть больше родственного тепла. А она, – добавил он, – она сумеет оценить все, что ты для нее сделаешь, и будет благодарна тебе.

Наступила долгая тишина. Господин Дарбеда слышал, как в соседней комнате поет Пьер. Впрочем, это едва ли было пением, скорее разновидность речитатива, визгливого и стремительного. Господин Дарбеда в упор посмотрел на дочь:

– Значит, нет?

– Пьер останется со мной, – спокойно сказала она, – я хорошо с ним лажу.

– Да, конечно, надо лишь целыми днями валять дурака.

Ева улыбнулась и бросила на отца странный, насмешливый и почти веселый взгляд. «Это правда, – в ярости подумал господин Дарбеда, – они только этим и занимаются, она спит с ним».

– Ты совсем рехнулась, – сказал он, вставая.

Ева грустно улыбнулась и словно про себя ответила:

– Не совсем.

– Не совсем? Я могу сказать тебе лишь одно, дитя мое, ты меня пугаешь.

Он быстро поцеловал ее и вышел. «Надо привести двух дюжих молодцов, – думал он, сходя по лестнице, – забрать силой этот жалкий отброс и поставить под душ, не спрашивая у него разрешения.



Был прекрасный осенний день, тихий и прозрачный, солнце золотило лица прохожих. Господин Дар-беда был поражен простотой этих лиц: одни были морщинистые, другие – гладкие, но на всех отражались те радости и заботы, что были ему близки.

– Я точно знаю, в чем я упрекаю Еву, – говорил он себе, выходя на бульвар Сен-Жермен. – Я упрекаю ее в том, что она живет вне человеческого. Пьер уже не человек; отдавая ему свою заботу и свою любовь, она тем самым отнимает их у этих людей. Мы не имеем права отделяться от людей; как бы трудно нам ни было, мы все-таки живем в обществе.

Он с симпатией вглядывался в прохожих; ему нравились серьезные и ясные выражения их лиц. На этих солнечных улицах, среди этих людей, ты чувствуешь себя в безопасности, как в большой семье.

Женщина с непокрытой головой остановилась перед уличным лотком. Она держала за руку маленькую девочку.

– А что это такое? – спросила девочка, показывая на радиоприемник.

– Не трогай ничего, – сказала ей мать, – это радио, оно делает музыку.

Несколько минут они стояли молча, застыв в экстазе. Господин Дарбеда, растроганный, склонился к маленькой девочке и улыбнулся.

## II

«Он ушел». Входная дверь, громко щелкнув, закрылась. Ева была одна в гостиной. «Я хотела бы, чтоб он умер».

Она вцепилась руками в спинку кресла; она вспоминала глаза своего отца: господин Дарбеда наклоняется над Пьером с видом знатока; он говорит ему: «Ну вот и хорошо!», словно человек, умеющий разговаривать с больными; он смотрит на него, и лицо Пьера отражается на дне его больших живых глаз. «Я ненавижу его, когда он так на него смотрит, когда я думаю о том, что он его видит».

Руки Евы скользнули вдоль кресла, и она повернулась к окну. Свет ослепил ее. Комната была залита солнцем, оно было повсюду: круглые пятна на ковре, ослепительная искрящая пыль в воздухе. Ева отвыкла от этого нескромного и пронырливого света, который рылся всюду, очищал все уголки и, как хорошая хозяйка, до блеска натирал мебель. Тем не менее она подошла к окну и приподняла муслиновую занавеску, закрывавшую стекло. Как раз в эту минуту господин Дарбеда вышел из дому; Ева сразу узнала его широкие плечи. Он поднял голову, шурясь, посмотрел на небо и пошел размашистым шагом, словно молодой человек. «Он насилует себя, – подумала Ева, – скоро у него заколет в боку». Ненависти к нему она уже не испытывала: в его голове было совсем пусто, разве что жила жалкая забота о том, чтобы

выглядеть молодым. Однако гнев снова охватил ее, когда он, повернув за угол на бульвар Сен-Жермен, исчез из виду. «Он думает о Пьере». Крошечная частица их жизни выскользнула из закрытой комнаты и тащилась по солнечным улицам, сквозь толпу. «Неужели нас никогда не оставят в покое?»

Улица дю Бак была почти безлюдна. Какая-то пожилая дама семенящей походкой переходила дорогу; смеясь, прошли три девушки. А потом мужчины, сильные и серьезные люди, которые несли папки, о чем-то переговаривались. «Вот они – нормальные люди», – подумала Ева, с удивлением обнаружив в себе такую силу ненависти. Красивая полная женщина подбежала к элегантному господину. Он обнял ее и поцеловал в губы. Ева зло ухмыльнулась. И опустила занавеску.

Пьер петь перестал, но молодая женщина с четвертого этажа заиграла на пианино – это был этюд Шопена. Ева немного успокоилась; она направилась было в сторону комнаты Пьера, но сразу остановилась и, охваченная легкой тревогой, прислонилась к стене: всякий раз, когда она выходила из комнаты, ее охватывал страх при мысли о том, что ей придется вернуться туда. Обычно она отлично знала, что не смогла бы жить в другом месте: она любила комнату. Словно пытаясь выиграть немного времени, она с холодным любопытством окинула взглядом эту комнату без теней и без запаха, где она ожидала, чтобы к ней вернулось мужество. «Ну просто приемная дантиста». Обитые розовым шелком кресла, диван и стулья выглядели по-отечески строго и скромно –

этакие добрые друзья человека. Ева представила, как солидные и одетые в светлые одежды люди, точно такие же, каких она только что видела из окна, входят в гостиную, продолжая начатый разговор. Они не теряли времени даже на то, чтобы осмотреть место, куда они попали, они уверенным шагом прошли на середину комнаты; один из них, за которым его рука тащила, словно след за кораблем, трогал по пути подушки, вещи, столы и даже не вздрагивал от соприкосновения с ними. А если какая-нибудь мебель мешала им пройти, эти степенные господа, вместо того чтобы обойти ее, спокойно переставляли ее на другое место. Наконец они уселись, все еще погруженные в свои разговоры, даже не оглянувшись назад. «Гостиная для нормальных людей», – подумала Ева. Она пристально смотрела на ручку запертой двери, и волнение сжимало ей горло. «Мне надо пойти к нему. Я никогда не оставляю его одного так надолго. Надо будет открыть эту дверь». Потом Ева будет стоять на пороге, пытаясь приучить свои глаза к полутьме, а комната изо всех сил будет стараться вытолкнуть ее. Еве надо будет преодолеть это сопротивление и проникнуть в сердце комнаты. Ее вдруг охватило неодолимое желание увидеть Пьера; ей очень хотелось бы посмеяться вместе с ним над господином Дарбеда. Но Пьер в ней не нуждался; Ева не могла предугадать, какой прием он ей окажет. Она вдруг не без гордости подумала, что нет у нее больше места нигде. «Нормальные еще думают, что я одна из них. Но я и часа не могу пробыть с ними. Мне необходимо

жить там, по ту сторону этой стены. Но там меня не ждут».

Вокруг нее все совершенно изменилось. Свет постарел, поседел, он отяжелел, словно вода в вазе с цветами, которую не меняли со вчерашнего дня. На этих предметах, в этом состарившемся свете Ева вновь обрела печаль, которую она давно забыла, – послеполуденную печаль поздней осени. Она, нерешительная, почти оробевшая, озиралась вокруг – все было таким далеким, а там, в комнате, не было ни дня, ни ночи, ни осени, ни печали. Она смутно припомнила прежние очень давние осени, осени своего детства, но вдруг оцепенела: она боялась воспоминаний.

Послышался голос Пьера.

– Агата! Ты где?

– Иду, – ответила Ева.

Она открыла дверь и вошла в комнату.

Густой запах ладана ударял в ноздри, заполнял рот, а она широко раскрывала глаза и вытягивала вперед руки – запах и полумрак уже давно слились для нее в одну едкую и вязкую стихию, столь же простую и привычную, как вода, воздух или огонь; она осторожно продвинулась к бледному пятну, которое, казалось, плавало в тумане. Это было лицо Пьера; одежда Пьера (с тех пор, как он заболел, он одевался в черное) сливалась с темнотой. Пьер запрокинул голову и сидел закрыв глаза. Он был красив. Ева долго смотрела на его длинные, загнутые ресницы, потом присела рядом на низкий стул. «У него страдальческий вид», – подумала она. Глаза

ее постепенно привыкали к полутьме. Первым выплыл письменный стол, потом кровать и, наконец, вещи Пьера: ножицы, банка с клеем, книги, гербарий, которые валялись на ковре у кресла.

– Агата?

Пьер открыл глаза, он с улыбкой смотрел на нее.

– Помнишь вилку? – спросил он. – Я сделал это, чтобы напугать того типа. В ней почти ничего не было.

Все страхи Евы развеялись, и она весело рассмеялась:

– У тебя очень хорошо получилось, ты его полностью из себя вывел.

Пьер улыбнулся.

– Ты видела? Он долго ее щупал, держал ее двумя руками.

Все дело в том, – сказал он, – что они не умеют брать вещи; они грубо их хватают.

– Это верно, – сказала Ева.

Пьер слегка постучал указательным пальцем правой руки по ладони левой.

– Вот как они это делают. Они подносят к вещи свои пальцы, а схватив вещь, прихлопывают ее ладонью, чтобы убить.

Говорил он быстро, кончиками губ; вид у него был растерянный.

– Интересно, чего они хотят, – сказал он. – Этот тип уже приходил. Почему они подослали его ко мне? Если они хотят знать, чем я занимаюсь, им остается лишь прочесть об этом на экране, им даже не нужно выходить из дома. Они

совершают ошибки. Они имеют власть, но допускают ошибки. Я же никогда не совершаю ошибок, в этом мой козырь. Хоффка, – сказал он, – хоффка.

Он замахал своими длинными руками перед лицом: «Ах, блядь! Хоффка, паффка, сюффка. Еще хочешь получить?»

– Это колокол? – спросила Ева.

– Да. Он уехал. – Он сурово продолжал: – Этот тип – мелкая сошка. Ты знаешь его, ты ушла с ним в гостиную.

Ева не ответила.

– А чего он хотел? – спросил Пьер. – Он должен был сказать тебе об этом.

Она на мгновение замешкалась, потом резко ответила:

– Он хотел, чтобы тебя заперли в лечебницу.

Если Пьеру правду говорили вкрадчиво, он ей не верил, нужно было больно ушибить его правдой, чтобы заглушить и парализовать его подозрения. Ева считала, что лучше обходиться с ним грубо, чем лгать: когда она лгала ему и казалось, что он ей верит, она не могла подавить в себе легчайшего ощущения превосходства, которое внушал ей ужас перед самой собой.

– Меня запереть! – с иронией повторил Пьер. – У них крыша поехала. Что мне стены? Они, наверное, думают, что стены могут меня остановить. Я спрашиваю себя иногда, а не существует ли на самом деле две банды. Настоящая – это банда негра. И банда путаников, которые во все суют свой нос и делают глупость за глупостью.

Он застучал рукой по подлокотнику кресла и с радостным видом на нее посмотрел.

– Через стены ведь можно пройти. И что же ты ему ответила? – спросил он, с любопытством оборачиваясь к Еве.

– Что тебя не запрут.

Он пожал плечами:

– Этого не надо было говорить. Ты тоже совершила ошибку, если, конечно, не сделала ее нарочно. Надо было вынудить их раскрыть карты.

Он умолк. Ева печально опустила голову. «Они грубо их хватают!» Каким презрительным тоном он это сказал и как это верно; и неужели я тоже хватаю вещи? Напрасно я слежу за собой, я думаю, что большинство моих жестов его раздражает. Но он об этом не говорит. Она вдруг почувствовала себя такой же несчастной, как в четырнадцать лет, когда госпожа Дарбеда, молодая и легкая, сказала ей: «Можно подумать, ты не знаешь, куда девать свои руки». Она боялась пошевеливаться, и, как назло, именно в эту минуту ее охватило непреодолимое желание сменить позу. Осторожно, едва касаясь ковра, она подтянула под стул ноги. Она посмотрела на настольную лампу, ножку которой Пьер выкрасил в черный цвет, на шахматы. На доске Пьер оставил лишь черные пешки. Иногда он вставал, подходил к столику и брал пешки в руки. Он разговаривал с ними, называл их Роботами, и казалось, что в его пальцах они начинали жить какой-то тайной жизнью. Когда он ставил их на место, Ева тоже трогала



их (ей казалось, что при этом она выглядит чуть комично), пешки вновь превращались в кусочки мертвого дерева, но в них оставалось нечто смутное и неуловимое, нечто имеющее смысл. «Это его вещи, – думала она. – В комнате больше нет ничего моего». В прошлом ей принадлежало кое-что из мебели. Зеркало и туалетный столик с инкрустацией, который достался ей от бабушки и который Пьер в шутку называл «твой столик». Вещи эти принес в комнату Пьер, и только ему вещи открывали свое истинное лицо. Ева могла часами наблюдать за ними – с каким-то постоянным и злым упрямством они старались обмануть ее, неизменно поворачиваясь к ней так же, как к доктору Франшо или господину Дарбеда, – лишь своей внешностью. «Хотя я вижу их не совсем такими, как мой отец, – с тревогой думала она. – Не может быть, чтобы я видела их так же, как и он».

Она слегка пошевелила коленями: ноги у нее затекли. Напряженное, одеревеневшее ее тело причиняло боль; она ощущала его, как слишком живое и нескромное. «Хорошо бы стать невидимкой и находиться здесь; я бы видела его, а он меня нет. Он во мне не нуждается; я совершенно лишняя в комнате». Она слегка повернула голову и взглянула поверх Пьера на стену. На стене были начертаны угрозы. Ева знала это, но не могла их прочесть. Она часто разглядывала большие красные розы на обоях, рассматривала их до тех пор, пока они не начинали прыгать у нее перед глазами. В полутьме розы пылали ярким пламенем. Чаще всего угроза

была выписана под потолком, слева от кровати, хотя иногда она смещалась. «Я должна встать, я больше не могу сидеть так, не могу». На обоях еще были белые круги, похожие на ломтики нарезанного лука. Круги закружились вокруг своей оси, и у Евы задрожали руки. «В какие-то мгновения я схожу с ума. Но нет, – с досадой думала она, – я не могу сойти с ума. Я просто нервничаю».

Неожиданно она почувствовала прикосновение руки Пьера.

– Агата, – нежно сказал Пьер.

Он улыбался ей, но держал ее руку кончиками пальцев с каким-то отвращением, словно он взял за туловище краба и старался, чтобы тот не схватил его клешнями.

– Агата, – сказал он, – мне так хотелось бы тебе доверять.

Ева закрыла глаза, и грудь ее слегка приподнялась. «Не надо ничего отвечать, иначе он опять замкнется в себе и больше не скажет ни слова».

Пьер отпустил ее руку.

– Я тебя очень люблю, Агата, – сказал он. – Но понять тебя не могу. Почему ты все время находишься в этой комнате?

Ева молчала.

– Ответь, почему.

– Ты прекрасно знаешь, что я люблю тебя, – сухо сказала она.

– Я тебе не верю, – сказал Пьер. – Почему ты должна меня любить? Я должен внушать тебе ужас: я ведь гонимый.

Он улыбнулся, но сразу стал серьезным:

– Между тобой и мной – стена. Я вижу тебя, говорю с тобой, но ты по ту сторону. Что же нам мешает любить друг друга? Мне кажется, что в прошлом это было легче. В Гамбурге.

– Да, – грустно сказала Ева.

Вечно этот Гамбург. Никогда не вспоминал об их настоящем прошлом. Они не были в Гамбурге.

– Мы прогуливались вдоль каналов. Там была одна лодка, помнишь? Черная лодка, а на палубе собака.

Он выдумывал на ходу, и вид у него был неискренний.

– Я держал тебя за руку; у тебя была иная кожа. Я верил всему, что ты мне говорила. Замолчите же, – закричал он.

На мгновение он прислушался.

– Они идут, – мрачно сказал он.

– Идут? Я думала, они больше никогда не вернуться.

Уже три дня Пьер был спокоен: статуи не появлялись. Пьер ужасно боялся статуй, хотя он с этим не соглашался. Ева же их не боялась, но когда они с шумом начинали летать по комнате, она сильно переживала за Пьера.

– Дай мне циутр, – попросил Пьер.

Ева встала и взяла циутр; это были несколько кусочков картона, собственноручно склеенных Пьером. Циутр служил для заклинания статуй. С виду он напоминал паука. На одном из кусочков Пьер написал: «Против козней», – и на другом: «Черное». На третьем нарисовал улыбающуюся ро-

жицу с прищуренными глазками: это был Вольтер. Взяв циутр за одну лапку, Пьер мрачно оглядел его.

– Он больше не может мне служить, – сказал он.

– Почему?

– Они его исказили.

– А ты не можешь сделать другой?

Пьер долго смотрел на нее.

– Тебе только этого и надо, – сквозь зубы процедил он.

Ева злилась на Пьера. «Каждый раз, когда они появляются, он об этом заранее знает. Как он это делает, он ни разу не ошибся».

Циутр безжизненно и жалко свисал с руки Пьера. «Он всегда находит веские причины, чтобы не пользоваться им. В воскресенье, когда они появились, он утверждал, что потерял его, но я-то видела его за банкой с клеем, и он просто не мог его не видеть. Интересно, уж не сам ли он их вызывает». Никогда нельзя было знать, до конца ли он искренен. В отдельные мгновения у Евы возникало впечатление, что в Пьере, вопреки его воле, поселяется сонм нездоровых мыслей и видений. Но в иные минуты ей казалось, что он попросту их выдумывает. «Он страдает. Но до какой степени он верит в статуи и негра? Статуй, во всяком случае, насколько я знаю, он не видит, только слышит: когда они проносятся мимо, он отворачивается, хотя и утверждает, что видит их; он даже пытается их описывать». Она вспомнила красное лицо доктора Франшо: «Но, милостивая государыня, все ду-

шевнобольные – лгуны, и вы зря потратите время, если захотите различить то, что они действительно ощущают, от того, что, по их утверждениям, они ощущают». Она вздрогнула: «При чем тут Франшо? Я не стану думать, как он».

Пьер поднялся; он пошел бросить циутр в корзину для бумаг. «Я хотела бы думать, как ты», – прошептала она. Пьер осторожно семенил маленькими шажками, прижав локти к телу, чтобы занимать как можно меньше места. Он вернулся, сел и с решительным видом посмотрел на Еву.

– Надо будет наклеить черные обои, – заметил он, – в комнате мало черного цвета.

Он съежился в кресле. Ева с грустью смотрела на это тощее тело, всегда готовое отступить, сжаться, – руки, ноги, голова напоминали органы, которые можно убирать внутрь. На часах пробило шесть; пианино умолкло. Ева вздохнула: статуи не явятся сразу, надо будет их подождать.

– Хочешь, я зажгу свет?

Ева предпочитала бы не ждать их в темноте.

– Делай что хочешь, – сказал Пьер.

Она включила маленькую лампу на письменном столе, и красный туман заполнил комнату. Пьер тоже ждал.

Он молчал, но губы его шевелились – они были двумя темными пятнами в красном тумане. Еве нравились губы Пьера. Когда-то они были такие чувственные и волнующие, но они утратили свою чувственность. Они, чуть дрожа, разжимались и без конца сжимались, впиваясь друг в друга для

того, чтобы снова разжаться. Только они оставались живыми на окаменевшем лице и казались двумя испуганными зверьками. Пьер мог часами что-то бормотать, не издавая при этом ни единого звука, и Еву часто завораживала эта упрямая мелкая дрожь. «Я люблю его рот». Он давно не целовал ее, он боялся прикосновений. Ночью его трогали сильные и шершавые руки мужчин, они щупали его тело, а руки женщин с очень длинными ногтями осыпали его грязными ласками. Часто он ложился спать не раздеваясь, но руки проскальзывали под одежду и дергали за рубашку. Однажды он услышал смех и чьи-то пухлые губы прижались к его губам. Именно с этой ночи он перестал целовать Еву.

– Агата, не смотри на мой рот! – сказал Пьер.

Ева опустила глаза.

– Я ведь знаю, что можно научиться читать по губам, – дерзко заметил он.

Рука его дрожала на подлокотнике кресла. Указательный палец вытянулся, трижды постучал по большому пальцу, а остальные сильно сжались – это было заклинание.

– Сейчас начнется, – подумала она. Ей захотелось обнять Пьера.

Пьер заговорил громко, вполне светским тоном:

– Ты помнишь Сан-Паулу?

Не отвечать. Это может быть ловушка.

– Я ведь там с тобой познакомился, – самодовольно сказал он. – Отобрал тебя у датского матроса. Мы чуть было не

подрались, но я всем поставил выпить, и он позволил мне тебя увести. Все это было лишь комедией.

«Он врет, он не верит ни единому своему слову. Он знает, что меня зовут не Агата. Ненавижу его, когда он врет». Но она увидела его остекленевшие глаза, и гнев ее улетучился. «Он не врет, – думала она, – он просто на пределе. Он чувствует, что они приближаются; он говорит, чтобы не слышать их». Пьер вцепился обеими руками в ручки кресла. Лицо его было бледным, но он улыбался.

– Эти встречи часто бывают странными, – продолжал он, – но я не верю в случай. Я не спрашиваю, кто тебя послал, я знаю, что ты не ответишь. Во всяком случае, ты оказалась довольно ловкой, чтобы облить меня грязью.

Говорил он с трудом, резким голосом. Некоторые слова он произнести не мог, и они выделялись у него изо рта, словно мягкая, бесформенная масса.

– Ты увела меня в самый разгар праздника, провела между рядами черных автомобилей, но за ними таилась целая армия красных глаз, которые загорались, едва я отворачивался от них. Я думаю, что ты подавала им сигналы, повиснув у меня на руке, но я ничего не замечал. Я был весь слишком увлечен грандиозной церемонией Коронации.

Он смотрел прямо перед собой, широко раскрыв глаза. Он быстро провел рукой по лбу, продолжая говорить, – он не хотел молчать.

– Это была Коронация Республики, – взвизгнул он, – по-

трясающее в своем роде зрелище из-за множества разных животных, которых специально привезли из колоний на церемонию. Ты боялась потеряться среди обезьян. Я сказал: среди обезьян, – с надменным видом повторил он, оглядываясь по сторонам. – Я мог бы сказать: и среди негров! Ублюбки, которые ползают под столами и думают, что их никто не видит, обнаружены и на месте пригвождены моим Взглядом. Приказываю замолчать, – закричал он. – Молчать! Всем стоять на местах по стойке смирно при входе статуй, это приказ. Тралала, – протрубил он, рупором сложив у рта ладони, – тралалала, тралалалала.

Он замолчал, и Ева поняла, что статуи уже вошли в комнату. Он сидел оцепенев, бледный и надменный. Ева тоже словно застыла, и они оба молча ждали. Кто-то прошел по коридору – это была домработница Мари, которая, вероятно, и собиралась войти. Ева подумала: «Надо будет дать ей денег на оплату газа». И тут статуи начали летать: они проносились между Евой и Пьером.

Пьер произнес «Хан» и вжался в кресло, подобрав под себя ноги. Он отвернулся и изредка ухмылялся, но капли пота блестели у него на лбу. Ева не могла вынести вида этой бледной щеки, этих дрожащих губ, скривившихся в гримасе; она закрыла глаза. Золотые лики закружились на красном фоне ее век; она почувствовала себя старой и грязной. Рядом хрипло дышал Пьер. «Они летают, они жужжат, они наклоняются к нему...» Она ощутила легкую щекотку, какое-то



стеснение в правом плече и в боку. Ее тело инстинктивно отклонилось влево, как бы стремясь увильнуть от неприятного прикосновения, пропустить тяжелый и неуклюжий предмет. Неожиданно скрипнула половица, и у нее возникло безумное желание открыть глаза, посмотреть направо, разгоняя рукой воздух.

Она не шелохнулась; глаза ее оставались закрытыми, и терпкая радость заставила ее содрогнуться. «И мне тоже страшно», – подумала она. Вся ее жизнь укрывалась сейчас справа от нее. Не открывая глаз, она наклонилась в сторону Пьера. Стоило ей сделать совсем небольшое усилие, и она впервые проникла бы в этот трагический мир. «Я боюсь статуй», – думала она. Это было сильное и слепое утверждение, это были чары: всеми своими силами она хотела верить в то, что статуи – в комнате; ту тревогу, которая парализовала ее правую сторону, она пыталась превратить в новый смысл, в осязание. В руке, в боку и плече она чувствовала, как они пролетают.

Статуи летали низко и плавно, они жужжали. Ева знала, что у них лукавый вид и что ресницы торчат вокруг каменных глаз, но она плохо себе их представляла. Она знала также, что статуи еще не вполне ожили, хотя заплатки из живой плоти, мягкая чешуя местами появлялись на их огромных телах; камень на кончиках их пальцев облупился, а ладони у них чесались. Ева не могла видеть всего этого; она лишь думала, что огромные женщины мчатся прямо на нее,

торжественные и причудливые, с человеческим выражением лица и твердым упорством камня. «Они склоняются над Пьером». Ева так сильно напряглась, что у нее задрожали руки. «Они склоняются ко мне...» Вдруг жуткий крик холодом сковал ее тело. «Они дотронулись до него». Она открыла глаза – Пьер обхватил голову руками, он часто дышал. Ева почувствовала себя совершенно выложившейся. «Игра, – с сожалением думала она, – это была лишь игра, ни на мгновение я искренне не верила во все это. И все это время он по-настоящему страдал».

Пьер весь размяк и тяжело дышал. Но зрачки его оставались странно расширенными; он обливался потом.

– Ты видела их? – спросил он.

– Я не смогла их увидеть.

– Так лучше для тебя, они бы тебя напугали, – сказал он. –

Ну а я к ним уже привык.

Руки у Евы все еще дрожали, в висках стучало. Пьер достал из кармана сигарету и поднес ко рту, но не прикуривал ее.

– Мне все равно, я могу смотреть на них сколько угодно, но не желаю, чтобы они меня касались: боюсь, еще заразят меня прыщами.

Он на мгновение задумался, потом сказал:

– Ты их слышала?

– Да, – сказала Ева, – это как мотор самолета. (Это сказал ей Пьер в прошлое воскресенье.)

Пьер снисходительно улыбнулся.

– Ты преувеличиваешь, – сказал он. Но по-прежнему был очень бледен. Он посмотрел на руки Евы: – У тебя дрожат руки. Тебя взволновало это, бедная моя Агата. Но не переживай: до завтра они не вернуться.

Ева не могла говорить; у нее стучали зубы, и она боялась, как бы Пьер не заметил этого. Пьер долго ее разглядывал.

– Ты ужасно красива, – сказал он, покачивая головой. – Жаль, по-настоящему жаль.

Он быстро протянул руку и коснулся ее уха.

– Моя прекрасная дьяволица! Ты мне немного мешаешь, ты слишком красива – это меня отвлекает. Если не будет регрессии...

Он замолчал и удивленно взглянул на Еву.

– Нет, не то слово... Оно пришло... оно пришло, – сказал он, таинственно улыбаясь. – У меня на языке вертелось другое... а это... вытеснило его. Я забыл, что хотел сказать тебе.

Он задумался на мгновение и покачал головой.

– Ладно, – сказал он, – я посплю немного. – И прибавил по-детски капризно: – Ты знаешь, Агата, я так устал. Не могу собрать свои мысли.

Он бросил сигарету и тревожным взглядом окинул ковер. Ева подложила ему под голову подушку.

– Ты тоже можешь поспать, – закрывая глаза, сказал он, – больше они не вернуться.

«Регрессия». Пьер спал, расплывшись в полублаженной

улыбке; голова его чуть склонилась в сторону, казалось, что ему хотелось потереться щекой о свое плечо. Сон к Еве не шел, она все повторяла: «Регрессия». У Пьера вдруг появилось идиотское выражение, и с языка сорвалось это слово, длинное и бесцветное. Пьер удивленно смотрел прямо перед собой, словно видел это слово, но не мог его узнать; его приоткрытый рот обмяк, казалось, что в нем что-то надломилось. Он заговаривался. Это случалось с ним впервые: кстати, он сам обратил на это внимание. Он сказал, что не может собрать своих мыслей. Пьер издал тихий, сладострастный стон, и его рука слегка шевельнулась. Ева испытующе смотрела на него: каким он проснется? Именно это терзало ее. Едва Пьер засыпал, она задумывалась об этом и отогнать свои мысли никак не могла. Она боялась, как бы он снова не проснулся с этими бегающими глазами и опять не стал бы бредить. «Какая я глупая, – подумала она. – Это должно начаться не раньше чем через год, как мне сказал Франшо». Но тревога не покидала ее: один год, одна зима, одна весна, одно лето, начало еще одной осени. И наступит день, когда черты его лица исказятся, челюсть отвиснет и он с трудом будет приоткрывать слезящиеся глаза. Ева склонилась к руке Пьера и коснулась ее губами: «Но я убью тебя раньше».